ЗЛО У СТАНИЦЫ · КНИГА ТРЕТЬЯ

ОТЦОВСКАЯ ДОРОГА



ЮРИЙ ЗОРКИЙ

Юрий Зоркий

Отцовская дорога. Зло у станицы. Книга 3

https://litres.ru/74756469
SelfPub; 2026

Аннотация

Третья книга серии «Зло у станицы». Продолжение романа «Ключ от кургана».

Шестнадцать лет назад Андрей Ткаченко уехал на Север и не вернулся. Однажды весной в его запертой машине в Тюмени появляется старая летопись заставы: карта курганов Кубани и страницы, исписанные почерком казака, умершего двести лет назад. Летопись гонит Андрея домой, в станицу Курганную, где его никто не ждёт.

Степан не готов простить отца. Матвей его почти не помнит. А курган за балкой снова просыпается: по станице носятся анчутки, в полях бродит полудница, по ночам над крышами летает огненный змей. И летопись по ночам дописывает себя сама.

Братьям придётся решить, кто им отец: чужой человек или третий на заставе. И к осенней грозе узнать, какую цену берёт курган за то, чтобы его закрыли навсегда.

Содержание

Пролог. Тюмень 6
Глава 1. Чужой 16
Глава 2. Шорох 24
Глава 3. Свёрток 30
Глава 4. Летопись 36
Глава 5. Блуд 44
Глава 6. Наизнанку 51
Конец ознакомительного фрагмента. 56

Юрий Зоркий
Отцовская дорога. Зло у станицы. Книга 3

От автора

В книге звучит кубанская балачка, говор кубанских казаков. Его принесли на Кубань казаки-черноморцы больше двухсот лет назад, и в станицах и на хуторах на нём говорят до сих пор, особенно старики. Балачка — живая часть кубанской казачьей культуры, её речь и её память. Реплики на балачке я оставил так, как они звучат, но записал русскими буквами, а смысл всегда понятен из текста.

Когда над курганом сгустится степная мгла

и ветер полынью ударит в закрытую дверь,

не спрашивай путника, где его жизнь вела, —

он сам этот путь не простил себе и теперь.
Дорога назад тяжелее дороги вперёд:

на ней каждый камень хранит, как ты уходил.

Но тот, кто однажды свернул от родимых ворот,

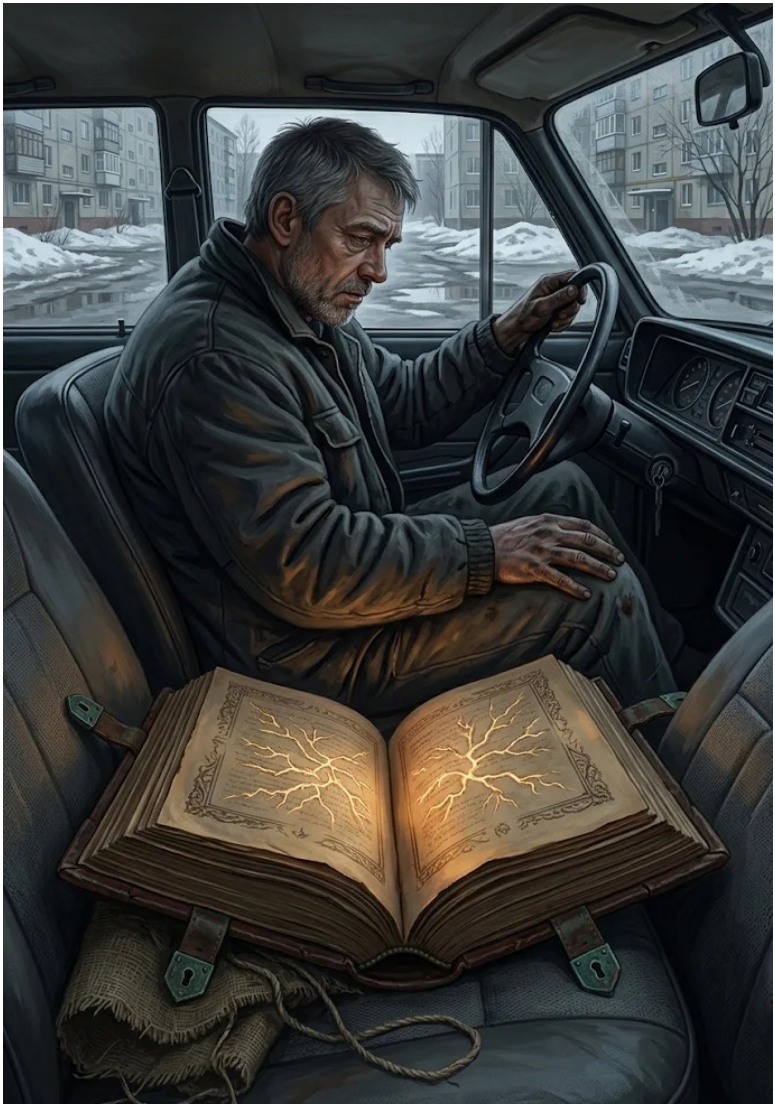
её помнит лучше всех, кто по ней ходил.
Не гони от калитки того, кто стоит в пыли,

не суди его словом — суди его делом одним.

Дорога отцовская дольше, чем край земли,

но к дому ведёт она всех, кто был там любим.
Из летописи заставы

Пролог. Тюмень



В Тюмени весна приходит не сразу. Сперва она просто обещает: снег темнеет, с крыш капает, а наутро всё снова стоит колом. Потом обманывает. И только в конце апреля, когда уже никто не верит, что она будет, приходит по-настоящему — грязью, ветром и лужами в колено.

Андрей Ткаченко жил здесь шестнадцать лет и так и не привык. Ему было сорок шесть, а выглядел он на все пятьдесят: седой, сутулый, с тяжёлыми тёмными руками.

Он вообще ни к чему здесь не привык. К морозу за сорок. К белым ночам, когда не спится. К тому, что за окном не степь, а стена соседней пятиэтажки. Просто в какой-то момент перестал замечать. Так водитель перестаёт слышать, как стучит мотор.

Работал он в автосервисе на окраине, делал грузовики и технику для вахтовиков. Руки у него были такие, что никакое мыло не брало: масло въелось в кожу, в трещины на пальцах, под ногти. Начальник говорил ему, что лучшего механика не видел. Андрей пожимал плечами. Машина не человек. Машина не спрашивает, где ты был шестнадцать лет.

Жил он один, в однокомнатной на втором этаже. Диван, стол, телевизор, который он не включал. На холодильнике ни одного магнита. На стенах ни одной фотографии.

Фотография была одна. В бумажнике, за правами, сложенная вчетверо. Он не доставал её шестнадцать лет. Знал, что на ней, и потому не доставал.

* * *

В понедельник, в семь утра, он вышел к машине.

Старая серая «четвёрка» стояла там, где он её вчера оставил: у трансформаторной будки, носом к гаражам. Запертая. Стёкла подняты. Он проверял всегда, два раза, это у него было с молодости.

Он открыл дверь, бросил сумку на пассажирское сиденье и только потом, уже сев за руль, посмотрел в зеркало.

На заднем сиденье что-то лежало.

Большое, тёмное, прямоугольное. Завёрнутое в мешковину и перевязанное бечёвкой крест-накрест, как посылка в старое время.

Андрей долго смотрел на него в зеркало. Потом обернулся.

Никто в машину не лазил. Замки целые, стёкла целые. На запылённых ковриках ни одного следа, кроме его собственных. Он даже вышел и обошёл машину кругом. Ничего.

Значит, кто-то из сервиса пошутил. Валерка, наверное. У Валерки был запасной ключ, он в прошлом году перегонял машину на развал.

Андрей перегнулся назад и потянул за бечёвку.

* * *

Это была книга.

Хотя книгой её назвать было трудно. Толстая, с два кирпича, тяжёлая, как головка блока цилиндров. Переплёт из тёмной кожи, треснувшей на углах, как старые сапоги. Две

медные застёжки, позеленевшие. На обложке ничего. Ни названия, ни буквы.

Пахла она странно. Не пылью и не плесенью, как старые книги в библиотеке. Она пахла полынью.

Андрей не сразу понял, почему у него сжалось горло. А потом понял. В Тюмени полынь не пахнет так. Так она пахнет только там. В степи. В августе, когда жара спадает и первый вечерний ветер идёт от балки к станице.

Он потянул застёжку. Она не поддалась. Потянул сильнее, и тут она отщёлкнулась сама, легко, как будто не сопротивлялась, а просто ждала, когда её попросят по-хорошему.

Внутри всё было разное.

Первые листы тёмные, почти коричневые, с размотанными краями. Между ними вшиты тонкие деревянные дощечки с зарубками. Дальше бумага грубая, верёвочная, и буквы на ней как в церковной книге, с титлами и завитушками. Ещё дальше другой почерк, чёткий, с ятями и твёрдыми знаками на концах слов. Потом ещё один. И ещё. Чернила, карандаши, где-то выцветшие до того, что не разобрать.

И на полях знаки.

Ломаные линии, тонкие, ветвистые. Как молния, застывшая на коже.

Андрей такие видел. Один раз в жизни. Шестнадцать лет назад, вечером, на кухне у тестя. Пётр Головатый тогда закатал рукав, положил руку на стол, под лампу, и сказал: «Смотри, Андрию. И слушай. Раз ты теперь наш».

Андрей захлопнул книгу.

Застёжка щёлкнула сама.

Он сидел в машине, держа книгу на коленях, и слушал, как стучит сердце. За лобовым стеклом прошла соседка с собакой. Собака остановилась, посмотрела на машину и вдруг прижала уши и попятилась, пока хозяйка не дёрнула поводок.

Андрей завернул книгу обратно в мешковину. Завязал бечёвку. Вышел из машины и понёс её к мусорным бакам за гаражами.

Он дошёл до баков. Поднял свёрток над краем.

И понял, что не может разжать пальцы.

Не потому, что их свело. Не потому, что кто-то держал. Просто стоял и не мог. Как будто держал не книгу, а чью-то руку и знал: отпустишь — и больше не найдёшь.

Он уже один раз отпустил.

Андрей постоял у баков минуту. Потом вернулся к машине и положил свёрток на заднее сиденье. Туда же, где нашёл.

И поехал на работу.

* * *

Валерка ничего не знал. Валерка даже обиделся.

— Да на кой мне твоя книга, Андреич? Я книг с армии не держал. И ключ твой я тебе ещё в августе отдал, сам же в бардачок кинул.

Андрей проверил. Ключ лежал в бардачке.

Весь день он работал молча. Дважды уронил ключ на две-

надцать. Один раз поймал себя на том, что стоит у окна бокса и смотрит на свою «четвёрку» на стоянке. Просто смотрит. Как смотрят на спящего ребёнка.

* * *

В ту ночь ему приснилась степь.

Шестнадцать лет она ему не снилась. Он сам себе это запретил, в первую же зиму, и научился: стоит во сне потянуть полынью, и он сразу просыпается. Садится на край дивана, смотрит на стену пятиэтажки и ждёт, пока пройдёт.

А в эту ночь не проснулся.

Он стоял по пояс в сухой траве. Над ним было низкое лиловое небо, как перед грозой. Перед ним — курган. Круглый, тёмный, огромный, как спина зверя, который заснул в степи и так и не проснулся.

На вершине стояли двое.

Он не видел лиц. Только силуэты на фоне неба: один высокий, другой пониже, плотнее. Они стояли плечом к плечу и смотрели вниз. На него.

Андрей хотел крикнуть им. Он даже знал что. Два имени. Но из горла не вышло ничего, словно он шестнадцать лет не произносил их вслух и голос разучился.

А потом позади него зашуршала трава.

Он знал, что за спиной кто-то стоит. Знал так же точно, как знал, что небо над ним. И не мог обернуться.

— Андрию, — сказал за спиной молодой голос. Не злой. Усталый. — Вези. Сами мы уже не донесём.

Андрей проснулся.

Было четыре утра. В комнате пахло полынью.

* * *

Сон приходил каждую ночь.

Всегда один и тот же, и каждую ночь чуть-чуть другой. То трава выше. То небо ниже. То те двое на вершине стоят ближе к краю. Однажды он увидел, что на руке у младшего что-то светится голубым, и проснулся с криком.

На работе стали замечать. Андреич сдал. Андреич дважды забыл закрутить пробку масляного поддона, чего за пятнадцать лет не случалось. Начальник отвёл его в сторону и спросил, не запил ли он. Андрей сказал, что не запил. Это была правда, и от этого было только хуже.

Книгу он больше не открывал. Но и из машины не вынимал. Она лежала на заднем сиденье, в мешковине, и каждое утро, садясь за руль, он сначала смотрел в зеркало. На месте.

Однажды, в конце мая, он стоял на светофоре и услышал сзади тихий сухой звук. Как будто перевернули страницу.

Он не обернулся.

* * *

В первых числах июня он достал фотографию.

Сидел ночью на кухне, после очередного сна, и вдруг понял, что уже держит в руках бумажник. Достал. Развернул. На сгибах фотография потрескалась белыми чёрточками.

Телега с арбузами на ярмарке. На арбузах сидит мальчишка лет семи, тощий, серьёзный, и держит на коленях толсто-

го годовалого малыша. Держит неумело, обеими руками, как самое дорогое. А на самом краю кадра видна чья-то рука в замасленном рукаве. Страхует, чтобы не свалились.

Рука была его.

На обороте, его же почерком, карандашом: «Стёпа и Матюша. Август».

Андрей долго сидел над ней. Потом посчитал на пальцах. Стёпе в июне двадцать три. Матвею первого сентября семнадцать.

Шестнадцать лет он запрещал себе это считать.

И только теперь, сидя ночью на чужой кухне в чужом городе, он понял, кто стоит на вершине кургана в его снах. Наверное, знал с первой ночи. Просто не давал себе думать.

Пётр тогда, на кухне, сказал ему всё. Про курган. Про заставу. Про то, что двое по крови. Про то, что однажды придёт гроза, и двум его сыновьям придётся подняться на вершину.

И Андрей сделал то, что сделал.

Он думал тогда, что спасает их. Что если он заберёт семью и увезёт подальше — всё обойдётся. А Оля сказала «нет». Спокойно, без крика. Сказала, что от крови не уедешь.

И тогда он уехал один.

Он много раз придумывал для этого другие слова. Дать семье время. Не мешать. Не смотреть. Но сейчас, ночью, придуманные слова не держались, и оставалось одно. Ему было страшно. И он сбежал.

* * *

Утром он позвонил начальнику и попросил отпуск. Весь, сразу. Начальник помолчал в трубку и сказал только: «Давно пора, Андреич».

Андрей залил полный бак. Поменял масло, хотя менять было рано. Проверил тормоза, ремень, свечи. Руки делали привычное дело, и от этого было легче.

Потом он поставил в навигаторе слово, которое шестнадцать лет не писал и не произносил.

«Курганная».

Три тысячи двести километров, сказал навигатор. Около сорока часов пути.

Андрей посмотрел в зеркало. Свёрток в мешковине лежал на заднем сиденье. Тихо. Терпеливо. Как пассажир, который давно знает дорогу.

— Ну что, — сказал Андрей вслух. И сам удивился своему голосу. — Поехали домой.

Машина выехала из двора и свернула на юг.

Позади, на заднем сиденье, под мешковиной, тихо щёлкнула медная застёжка.

Один раз.

Глава 1. Чужой



Буян залаял в семь утра.

Не так, как лаял на кошку или на почтальона. И не так, как зимой выл на курган. Иначе. Грудно, отрывисто, с визгом на конце. Как лают на человека, которого собака не знает, а двор почему-то помнит.

Матвей вышел на крыльцо в одних шортах, с зубной щёткой во рту.

У калитки стоял мужик.

Высокий, сутулый, в мятой клетчатой рубашке. Седые виски, щетина дня два без бритвы. Глаза красные, как после дороги или после ночи без сна. Он держался одной рукой за штакетину, и рука была тёмная, с чёрными трещинами на пальцах.

Буян рвался с цепи.

— Вам кого? — спросил Матвей, вынув щётку.

Мужик не ответил. Он смотрел на Матвея. Долго, не моргая, как смотрят на фотографию, и Матвею стало не по себе от этого взгляда. Не страшно. Неловко. Словно его рассматривали голым.

— Эй. Я спрашиваю, вам кого?

— Матюша, — сказал мужик. Тихо. Себе под нос.

У Матвея дёрнулась челюсть. Так его называли трое людей на свете: мама, бабушка и Стёпа. Больше никто. Никому больше не разрешалось.

За спиной грохнуло.

Мама стояла в дверях с пустыми руками. Ведро с комбикормом для кур лежало у её ног, и жёлтое зерно рассыпалось по порогу. Она не нагнулась. Она смотрела мимо Матвея, на калитку, и лицо у неё было такое, какого Матвей не видел даже в те сорок дней, когда считала Стёпу пропавшим.

Белое. Пустое. И совсем молодое.

— Оля, — сказал мужик у калитки.

Мама не ответила. Она медленно взялась рукой за косяк, как старуха, и Матвей вдруг понял. Всё сразу, целиком, как пропускают удар. Серая машина с тюменскими номерами, которую он вчера вечером видел у клуба. Руки в масле. И это имя.

— Вы кто? — спросил он. Хотя уже знал.

Мужик перевёл на него взгляд.

— Андрей, — сказал он. И помолчав: — Отец ваш.

* * *

Бабушка вышла с кочергой.

Не замахнулась, не закричала. Просто вышла и встала рядом с мамой, маленькая, сухая, в фартуке и галошах. И кочергу держала, как держат ружьё на посту.

— Шо, — сказала она на балачке, как говорила только в самом сильном гневе. — Вернувся.

— Нина Павловна…

— Шестнадцать лет тебе дорогу показували? — Бабушка не повышала голоса, и от этого было хуже. — Дед помер. Ты знав? Не знав. Стёпу мы сорок дней хоронили. Тож не знав.

А теперь приихав. Просто так. В воскресенье.

Андрей сгорбился ещё сильнее. Ничего не сказал.

— Иди, — сказала бабушка. — Иди, откуда пришёв. У них отца немае.

Мама так и не сказала ни слова. Только стояла, держась за косяк.

Матвей спустился с крыльца. Подошёл к калитке. Теперь они стояли через штакетник, и Матвей увидел, что мужик выше его на голову. И что у него Стёпины глаза. Точно такие же, серые, с тёмным ободком. От этого стало так зло, что зачесались кулаки.

— Слышали? — сказал он. — У нас отца нет. И не было.

— Матюша…

— Не называйте меня так.

Андрей кивнул. Сразу, послушно, как будто знал, что так и будет. И от этой покорности Матвею захотелось ударить ещё сильнее. Он знал это чувство. Так бывает на ринге, когда соперник опускает руки и стоит. Бить нельзя, и всё равно хочется.

— Малой.

Стёпа стоял на крыльце. Босиком, в футболке «Казаков», заспанный. Когда он вышел, Матвей не слышал.

Стёпа смотрел на калитку. На руки чужого человека на штакетине. Долго. И по его лицу Матвей ничего не мог понять, а он читал лицо брата как своё.

— Уходите, — сказал Стёпа. Спокойно. — Маме плохо.

Андрей посмотрел на маму. Потом на Стёпу. Отпустил штакетину.

— Я побуду в станице, — сказал он. — Немного. Я не буду приходить. Просто… буду здесь.

Он повернулся и пошёл по улице. Буян перестал лаять, сел и долго смотрел ему вслед, наклонив голову. Словно не мог решить, свой это или чужой.

* * *

Мама весь день пролежала в своей комнате лицом к стене. Не плакала. Просто лежала. Бабушка дважды носила ей чай и дважды забирала нетронутый.

Матвей с утра ушёл в зал. Бил мешок до тех пор, пока не сбил костяшки, и не слушал тренера. На обратном пути специально прошёл мимо клуба.

Серая «четвёрка» стояла там же, у тополя. Внутри никого. Стёкла пыльные. На заднем сиденье лежало что-то большое, завёрнутое в мешковину. Матвей скользнул по нему взглядом и забыл.

Забыл всё, кроме одного: на скамейке у клуба, сгорбившись, сидел Андрей и смотрел на курган.

Матвей прошёл мимо. Не остановился.

* * *

Ночью братья не спали.

Они до сих пор спали в одной комнате — с той зимы так и не разъехались. Стёпа лежал на спине и смотрел в потолок. Матвей сидел на подоконнике.

— Ты его помнишь? — спросил Матвей.

Стёпа долго не отвечал.

— Нет, — сказал он наконец. — Лица не помню. Голоса не помню. Ничего. Только…

— Что?

— Руки. — Стёпа поднял свои руки над лицом, посмотрел на них в темноте. — Ярмарка. Телега с арбузами. Ты у меня на коленях, тяжёлый, зараза, всё время куда-то лезешь. А сзади руки. Большие. Пахли соляркой. Держали нас обоих, чтобы мы не свалились. Я думал, это дед.

Матвей молчал.

— А сегодня увидел, как он за штакетину держится, — сказал Стёпа. — И вспомнил. Не дед это был.

— И что? — Матвей спрыгнул с подоконника. Голос дрогнул, и от этого он разозлился ещё больше. — Подержал раз на ярмарке, и всё? И можно шестнадцать лет не появляться? Мама из-за него весь день лежит. Стёп, он нас бросил. Понимаешь? Бросил.

— Понимаю.

— Так чего ты про руки?

Стёпа не ответил. Повернулся на бок.

Матвей постоял посреди комнаты. Потом снова подошёл к окну.

В конце улицы, у клуба, в темноте тлела оранжевая точка. Кто-то сидел в машине и курил.

А в дедовой комнате, за стеной, тихо, едва слышно, звяк-

нула в ножнах шашка.

И затихла.

Глава 2. Шорох

Первыми заметили собаки.

В ночь на среду, ровно в три часа, завыли все разом. Буян, соседские, сторожевые с фермы, даже старая глухая жучка бабы Мани, которая давно уже ни на кого не лаяла. Выли не на луну: луны в ту ночь не было. Все морды смотрели в одну сторону.

На курган.

Ровно через минуту все замолчали. Тоже разом. Как будто кто-то выключил.

Матвей проснулся и до утра больше не уснул. Стёпа спал. Или делал вид.

Утром в магазине у галантерейного прилавка женщины говорили только об этом. Кто-то сказал — к дождю. Кто-то сказал — к покойнику. Баба Маня сказала, что так же выли в сорок седьмом, перед засухой, и никто ей не поверил, потому что в сорок седьмом ей было три года.

Никто не сказал про курган. Весной на него ходили гулять, запускали змеев, собирали цветы. Станица быстро забыла, что когда-то его боялась.

А вот теперь, заметил Матвей, про него молчали. И никто не смотрел в ту сторону.

* * *

На курган они пошли днём, в жару.

Склон зарос высокой травой, стрекотали кузнечики, пахло чабрецом. Обычный июньский день. Матвей уже почти поверил, что зря пришли.

Потом они поднялись на вершину.

Вокруг плиты трава была чёрной.

Не сухой, не выгоревшей. Чёрной, как после пожара, только ничего тут не горело: ни пепла, ни запаха гари. Ровный круг, шагов в пять. А в центре — плита, целая, тёмная, такая же, как всегда.

— Это когда? — тихо спросил Матвей. — В день рождения же не было. Мы тут сидели.

Стёпа не ответил. Он стоял на краю чёрного круга и смотрел себе под ноги. Потом присел и положил ладонь на камень.

И тут же отдёрнул руку.

— Холодная, — сказал он. — Малой. Она холодная. В тридцать градусов.

Матвей присел рядом и тоже потрогал. Камень был холодный, как из погреба. Как будто под ним была не земля, а пустота, и из этой пустоты тянуло стужей.

Знак на левой руке вдруг зачесался. Матвей посмотрел: голубые линии светились. Слабо, даже на солнце заметно. Стёпа потёр ногу через джинсы.

— У тебя тоже? — спросил Матвей.

— Угу.

Они посидели ещё немного. Потом Стёпа приложил ухо к

камню. Долго слушал, закрыв глаза.

— Ну? — не выдержал Матвей.

— Ничего, — Стёпа выпрямился. — Тихо.

Но вниз он шёл молча, и дважды обернулся.

* * *

В пятницу пропал Гаврилыч.

Гаврилыч пас станичное стадо тридцать лет и знал степь, как свои карманы. Утром он угнал коров за балку, как всегда. Вечером коровы вернулись сами. Не спокойно, не вразвалку, как ходят сытые. Бегом, с выпученными глазами, и долго не давали себя доить.

Искать пошли в субботу с рассвета. Мужики, участковый, старшие пацаны. Братья пошли тоже.

И Андрей.

Никто его не звал. Он просто появился в цепи, на самом краю, в старых сапогах и с палкой. Мужики косились на него. Кто-то узнал, кто-то нет. По станице уже второй день шло: Ткаченко вернулся. Тот самый. Спит в машине у клуба.

Матвей встал так, чтобы их разделяли трое человек.

Шли до полудня. Нашли кнут — в километре за балкой, в ковыле. А дальше нашли следы.

Участковый долго стоял над ними и чесал затылок.

Следы шли по кругу.

Ровному, широкому, метров в сто. Ковыль был вытоптан тропой, и тропа не вела никуда. Круг, и ещё круг, и ещё. Десятки кругов по одной и той же дорожке. А в одном месте

следы просто обрывались. Как будто человек шёл, шёл и на очередном шагу перестал быть.

— Пьяный был, — сказал кто-то.

— Гаврилыч не пьёт, — сказал участковый. И больше ничего не сказал.

Матвей посмотрел на Стёпу. Стёпа смотрел на следы. А потом Матвей зачем-то посмотрел на Андрея.

Андрей стоял совсем белый. Не как все остальные, удивлённые и сбитые с толку. А так, словно уже видел такие круги. Или кто-то ему про них рассказывал.

Он поймал взгляд Матвея, отвернулся и пошёл обратно к станице. Быстро, не оглядываясь.

* * *

Шашка в эту неделю звенела три раза.

Раньше она звенела, когда рядом была нечисть, и братья шли на звон и находили. А теперь она звенела и замолкала, и сколько братья ни ходили по станице с ней в руках, ничего не было. Один раз она зазвенела прямо в сумке, когда Матвей проходил мимо клуба. Он даже остановился. Но вокруг никого не было. Только серая «четвёрка» у тополя, пустая.

Шашка звенела всё время, пока он стоял там. А как отошёл — затихла.

Матвей решил, что показалось. И ничего не сказал брату.

* * *

К Явдохе они пошли в воскресенье вечером.

Хата её стояла на краю станицы, у самой степи. И издалека

было видно, что с ней что-то не так. На всех окнах закрыты ставни, среди бела дня. На ставнях мелом нарисованы кресты. Над дверью висит пучок полыни, свежий, сегодняшний. И ещё один — над калиткой.

Стёпа постучал. Тишина. Постучал ещё.

— Не до вас, — сказала из-за двери Явдоха. Не открывая.

— Баба Явдоха, это мы.

— Знаю, шо вы. Не до вас, хлопцы.

— Там на кургане трава чёрная, — сказал Матвей. — Кругом. И плита холодная. И Гаврилыч пропал, следы по кругу. И шашка…

За дверью молчали.

Притихший звук. Они не сразу поняли, что это. А потом поняли: Явдоха шептала молитву. Быстро, сбиваясь, по третьему, по четвёртому разу.

Затем дверь приоткрылась. На ладонь. В щели белел слепой глаз.

— Идить додому, — сказала Явдоха на балачке. Ступайте домой. И помолчав: — И батька свого тримайте подальше от степи.

— Он нам не… — начал Матвей.

Дверь закрылась. Лязгнул засов.

* * *

В ту ночь Андрей спал в машине у клуба, откинув спинку водительского сиденья, и ему снова снилась степь.

Только в этот раз на вершине кургана никого не было.

А сам он шёл по траве. Шёл и шёл, и курган всё время был слева. И всё время на одном расстоянии. И трава под ногами была уже вытоптана. И следы в ней были его.

А на заднем сиденье, под мешковиной, в темноте, книга тихо перелистнула страницу.

Потом ещё одну.

И остановилась на той, где старой выцветшей рукой был нарисован круг. И ещё круг внутри. И ещё.

Утром в станицу вернулась собака Гаврилыча. Одна. Села на краю балки и до вечера смотрела в степь.

Не лаяла. Не выла. Ждала.

Глава 3. Свёрток

Стёпа не сказал брату, куда идёт.

После тренировки он отпустил «Казаков», собрал мячи в сетку, закинул её на плечо и пошёл не домой, а к клубу. Дедова шашка, завёрнутая в старую куртку, лежала в спортивной сумке. После Гаврилыча они с Матвеем договорились без неё не ходить.

Андрей сидел на скамейке у клуба. Как вчера, как позавчера. Сгорбившись, локти на коленях. Смотрел на курган.

Стёпа остановился в двух шагах. Андрей поднял голову, и в его лице что-то дёрнулось, как дёргается поплавок, когда клюёт. И тут же затихло.

— Можно? — спросил Стёпа.

Андрей подвинулся. Стёпа сел на другой край. Между ними поместился бы ещё один человек. Долго молчали.

— Ты тренером, — сказал наконец Андрей. Не спросил. Сказал. — Я видел. Вчера. Издали.

— Детская команда.

— У тебя левая нога рабочая, — сказал Андрей. — Как у меня. Я в Тихорецке за депо играл. Давно.

Стёпа ничего не ответил. Он не знал, что на это отвечать. Он всю жизнь думал, что левая у него своя. Собственная. А она, оказывается, тоже оттуда.

— Зачем вы приехали? — спросил он.

Андрей долго смотрел на курган.

— Не знаю, — сказал он. — Честно. Не знаю. Мне снилось… — Он осёкся и помотал головой. — Неважно. Скажу — решишь, что я с ума сошёл.

Стёпа чуть не засмеялся. Хотел сказать: я полтора месяца был мёртвым, меня словами не удивишь. Но не сказал.

И в этот момент в сумке зазвенела шашка.

Тонко, чисто, как струна. Андрей не услышал. А Стёпа похолодел.

Он смотрел на отца. Обычное усталое лицо. Морщины. Седина. Стёпины же глаза, серые, с тёмным ободком. Дедова тетрадь говорила: «Не верьте глазам». И Стёпа сам был тем, кому нельзя верить. Он-то знал лучше других, как выглядит чужое в знакомом лице.

Внутри Андрея горел огонь. Стёпа видел его, как видел всегда после той зимы. Обычный человеческий огонь, тёплый, жёлтый. Тусклый, как у тех, кто давно один. Но свой. Человеческий.

Шашка звенела.

Стёпа медленно повернул голову.

За скамейкой, у тополя, стояла серая «четвёрка». Стёкла пыльные. А на заднем сиденье лежал свёрток. Большой, тёмный, в мешковине, перевязанный бечёвкой крест-накрест.

Он встал. Сделал шаг к машине. Шашка зазвенела громче. Ещё шаг. Ещё громче.

— Ты чего? — Андрей тоже поднялся.

— Что у вас там? — Стёпа кивнул на заднее сиденье.

Андрей посмотрел туда. И в его лице Стёпа увидел то, что уже видел в степи, над следами Гаврилыча. Страх. И ещё что-то, похожее на стыд.

— Вещи, — сказал Андрей. — Старьё. Иди домой, Стёпа.

И это была первая его ложь. Стёпа понял это сразу.

* * *

— Ты с ним разговаривал?

Матвей стоял посреди комнаты, и у него тряслись руки.

— Сидел. С ним. На скамейке. Меня Лёшка Дыня спрашивает: «А чё твой брат с батей тусуется?» Вся станица видела. Мама неделю не встаёт, а ты…

— Матюш.

— Что?!

— Шашка звенела.

Матвей замолчал на полуслове.

— Там, у него, — сказал Стёпа. — Не на него. Я проверил. Он человек, у него внутри огонь обычный. Звенела на машину. На то, что у него на заднем сиденье лежит. Там свёрток. В мешковине.

Матвей вспомнил. Как проходил мимо клуба. Как шашка звенела в сумке и затихла, как только он отошёл. А он решил, что показалось.

— Я тоже слышал, — признался он. — В среду. Не сказал.

— Почему?

— Потому что не хотел, чтобы он был… — Матвей замол-

чал. — Не знаю, кем. Хотел, чтобы он просто уехал. И всё.

Стёпа кивнул. Он понимал.

— Он сказал, там старьё, — добавил Стёпа. — Соврал.

Матвей смотрел на брата, и злость на его лице медленно сменялась чем-то другим. Знакомым. Так он смотрел на соперника, когда находил дыру в защите.

— Сегодня ночью, — сказал он.

* * *

Ночью пошёл дождь.

Не гроза — мелкий, тёплый, июньский, как из лейки. И это была удача. Дядька Коля, сторож клуба, пожалел Андрея и пустил его спать в кинобудку на раскладушку. Они видели с угла, как дверь клуба закрылась и наверху, в маленьком окошке кинобудки, зажёгся свет. Через полчаса погас.

Им было стыдно. Обоим. Они не говорили об этом вслух, но так и было. Как будто лезли не в чужую машину, а в чужой карман.

Замок на задней двери оказался открыт. Не сломан. Просто кнопка поднята.

— Он же всё закрывает, — шёпотом сказал Матвей. — Я видел. Два раза каждую дверь дёргает.

Стёпа ничего не ответил. Он держал сумку, и шашка в ней звенела так, что её было слышно через дождь. Равномерно, настойчиво. Не как тревога. Как зов.

Он открыл дверь и вынул свёрток.

И шашка замолчала.

Разом, на полузвуке. Не затихла постепенно, как затихала, когда нечисть уходила. А сразу, успокоенно. Как собака, которая долго звала хозяина, и вот дозвалась.

Братья переглянулись.

— Она не на нечисть звенела, — тихо сказал Стёпа. — Она нас звала. Сюда.

* * *

Развернули дома, в дедовой комнате, при настольной лампе, заперев дверь.

Бечёвка развязалась сама, стоило только дёрнуть. Мешковина ползла в стороны. И комната сразу запахла степью, полынью, августом.

Книга была огромная. В тёмном кожаном переплёте, потёртом до блеска, с двумя позеленевшими медными застёжками. На обложке ни слова.

Матвей потянул застёжку. Не поддалась. Потянул сильнее, до белых костяшек. Ничего.

— Дай я, — сказал Стёпа.

Он положил ладонь на обложку, и знак на его ноге вспыхнул так, что свет пробился сквозь джинсы. И у Матвея на руке тоже. Два голубых огня в тёмной комнате.

Застёжки щёлкнули. Обе разом.

Книга раскрылась сама. Не на начале. Посередине, там, где вшиты были листы грубой сероватой бумаги, исписанные чётким почерком с ятями. И сверху страницы — рисунок пером. Курган. И две фигурки на вершине.

Тот же рисунок, что висел теперь у них над дедовой кроватью, углём на доске. Только здесь он был старше. И фигурки стояли порознь.

Под рисунком была подпись. Одно слово, с твёрдым знаком на конце.

«Остапъ».

Матвей сел на пол. Просто сел, где стоял.

А из-за печки на кухне, через стену, раздалось старческое довольное кряхтение. Как будто кто-то долго ждал и наконец дождался.

— Принесли, — сказал Кузьмич. — Ну наконец-то.

* * *

А в кинобудке клуба, на старой раскладушке, под шорох дождя, Андрей Ткаченко спал.

И впервые за месяц ему ничего не снилось.

Глава 4. Летопись

— Ты её знаешь? — спросил Стёпа.

Кузьмич не показался. Он вообще редко показывался с тех пор, как вернулся. Только кряхтел, сопел за печкой и по утрам выпивал своё молоко.

— Видел, — отозвался он из темноты на балачке. — Раз. Когда малый быв. У Сторожа на лавке. Он её никому не давав. Даже Петру. Летопись це. Заставная.

— А как она в Тюмени оказалась?

За печкой помолчали.

— То не моё дело, — сказал Кузьмич. — А вы не всё вслух читайте. Ночь же.

И замолчал. Больше до утра он не сказал ни слова.

* * *

Они начали с начала.

Первая страница была не бумажная. Кожа, тонкая, тёмная, потрескавшаяся, как земля в засуху. Букв на ней не было. Был только знак, нарисованный чем-то рыжим, бурым.

Спираль. Она закручивалась внутрь, виток за витком, всё теснее и теснее, и через самый центр её перечёркивала прямая черта. Как засов. Или как глаз, который закрыли.

Матвей протянул руку и дотронулся.

И его знак погас.

Не потускнел, не притих. Погас совсем, будто на руке ни-

когда ничего не было. И пальцы сразу замёрзли, как на плите на кургане. Матвей отдёрнул руку, и знак снова затеплился голубым. Медленно, с неохотой. Как свет после аварии на подстанции.

— Это что? — шёпотом спросил он.

Стёпа не ответил. Он смотрел на спираль и чувствовал то, что не чувствовал с февраля. Холод за грудиной. Тот самый холод, который жил в нём, когда в нём жил Данила. Только тогда холод был злой и живой. А этот был никакой. Пустой. Как колодец без дна.

Он перевернул страницу.

* * *

Дальше были дощечки.

Тонкие, отполированные руками до тёмного блеска, вшитые прямо в переплёт между кожаными листами. На них зарубки. Ряды зарубок, длинных и коротких, крестики, кружки. Прочесть их было нельзя. Но Стёпа провёл пальцем по одному ряду и почему-то сосчитал их, как считают чётки. Семь. Семь чего-то. Семь ночей. Или семь убитых.

Потом пошла бумага. Грубая, жёлтая, с водяными знаками на свет. Буквы как в старой псалтири, что лежала у бабушки в сундуке: с титлами, с вязью, без пробелов между словами. Стёпа читал по слогам, шевеля губами, и слова выходили тяжёлые, как камни.

«Се азъ, Семенъ Чорный, козакъ Сѣчи Запорожской, котораго товарищи зовутъ характерникомъ…»

— Характерник, — повторил Матвей. — Это что?

— Не знаю. Дед рассказывал вроде. У запорожцев были такие… колдуны. Которых пуля не брала. Которые сквозь землю видели. Я думал, сказки.

Дальше Семен Чорный писал, что старики до него вели счёт на дощечках, а он, грамотный, будет писать буквами, чтобы потомки знали. Какая тварь чем берётся. И чем не берётся никак.

И дальше шли записи. Короткие, каждая с заголовком, написанным киноварью.

«О вовкулакѣ».

«О вѣдьмѣ и какъ ея хвостъ рубить».

Стёпа и Матвей переглянулись.

«О утопленницѣ неотпѣтой».

«О блудѣ степовомъ».

На этой странице был рисунок. Круг, и в нём круг, и ещё. Матвей наклонился ближе.

— Стёп. Гаврилыч. Следы.

— Вижу.

Стёпа читал вслух, медленно, спотыкаясь:

«Блудъ водитъ ночью по степи кругомъ, донеже человѣкъ не падетъ. И тогда его более нетъ, и слѣда нетъ. А кого блудъ водитъ, тотъ да вывернетъ одежу на изнанку и чоботы съ ноги на ногу…»

Дальше строчка была залита чем-то тёмным. И от следующей остались только два слова: «…и самое главное…»

— Ну конечно, — сказал Матвей. — Конечно залито.

Стёпа заложил страницу фантиком от чупа-чупса, который нашёл в кармане. Другой закладки под рукой не было.

* * *

К двум часам ночи они дошли до другого почерка.

Бумага тут была гладкая, сероватая. Строчки ровные, буквы чёткие, с ятями, с твёрдыми знаками, наклонённые чуть вправо. А наверху первой такой страницы:

«Переписано въ лѣто 1792-е, на походѣ войска Черноморскаго къ Кубани, рукою Остапа Головатаго. Старые листы истлѣли и пали въ рукахъ. Что могъ — сберёгъ. Чего не могъ — то на мнѣ грѣхъ».

Матвей провёл пальцем по имени. Остап. Вот так, чернилами, собственной рукой. Двадцатидвухлетний парень с кожаным мячом, выменянным у пленного турка, сидел у костра на привале и переписывал старое в новое. А рядом, наверное, спал Данила, в своём красном кушаке.

У Матвея защипало в носу.

Записи Остапа шли долго. Про новую землю. Про курган, у которого им дали надел. Про первую грозу. Про то, что лезло из кургана в первый год. Коротко, по-деловому. И через запись, словно мимоходом: «Данило снова бился первымъ». «Данило раненъ въ руку, мати плакала». «Данило смѣется».

А потом, осенью 1793 года, записи оборвались.

Две страницы были пустыми. А на третьей, тем же почерком, только вкривь и крупнее, будто рука дрожала, была од-

на строчка:

«Врата закрыты. Данила тамъ. Больше писать не могу».

Матвей отвернулся к окну. Стёпа сделал вид, что не заметил.

* * *

Потом писали другие.

Через десять лет после Остапа чей-то угловатый, неумелый почерк. Потом красивый, с завитушками, как у писаря. Потом опять другой. Разные люди в разные годы. Казаки с других станиц, догадался Стёпа, которых Остап допускал к книге. Они приходили, записывали, как одолели свою тварь, и уходили. Исчезли яти. Исчезли твёрдые знаки. Появился химический карандаш. Потом фиолетовые чернила, как в советских тетрадках.

А потом, ближе к концу, снова появился почерк Остапа. Только старый. Дрожащий. И писал он уже не пером, а синей шариковой ручкой. И всё равно с ятями.

Записей было немного. Про деда. «Петръ померъ. Добрый былъ козакъ. На курганъ смотрѣлъ всю жизнь, а не стоялъ. Богъ избавилъ».

И последняя.

«Гроза. Внуки Петровы на вершинѣ. Старшаго я не уберёгъ».

Стёпа долго смотрел на эту строчку.

Старшаго. Это про него. Про ту ночь. Про кулак Матвея. Про каменную гробницу за вратами. Двести лет Остап стерег

курган, а потом пришёл домой, зажёг свечу и написал вот это. А потом пошёл и долгие месяцы изображал его, Стёпу, рядом с братом. Пил чай без сахара. Бил левой.

— Он себя винил, — сказал Матвей. Голос у него был странный. — А это я. Это я тебя.

— Малой.

— Что?

— Переворачивай.

* * *

Дальше страницы были пустыми.

Чистые, белые, и не пожелтевшие, как должна желтеть старая бумага. Словно их вшили вчера. Или сегодня. Матвей перелистнул до конца. Десятки страниц. Может, сотня. Ни слова, ни точки.

И на самом последнем листе тоже ничего.

— И всё? — не поверил Матвей. — Пусто?

Стёпа взял книгу у него из рук. Положил ладонь на чистую страницу. Бумага была тёплая. Как спина спящего.

— Это не пусто, — сказал он. — Это для нас.

За окном серело. Первые петухи кричали на дальнем конце станицы.

* * *

Андрей пришёл в восемь утра.

Он не стучал. Просто встал у калитки, как в первый день. Буян на этот раз не лаял. Посмотрел из будки и спрятал морду обратно.

Стёпа вышел. Матвей — следом и встал у брата за плечом.

Андрей посмотрел на обоих. На их красные от бессонницы глаза.

— Вы взяли, — сказал он. Не спросил.

— Взяли, — сказал Стёпа.

Андрей кивнул. И вдруг выдохнул, длинно, до дна, как человек, с плеч которого сняли мешок.

— Хорошо, — сказал он. — Это не моё. Я только вёз.

— Из Тюмени? — спросил Матвей. Зло. — И кто ж вам её там дал?

— Никто. Сама пришла. — Андрей помолчал. — Не веришь?

Матвей открыл рот и закрыл. В том-то и дело, что верил. И от этого было только злее.

— Я сегодня уеду, — сказал Андрей. — Вечером. Дело сделал. Нечего вам меня… — Он не договорил. — Маме скажите… Нет. Ничего не говорите.

Он повернулся и пошёл.

— Пусть едет, — сказал Матвей, когда он скрылся за поворотом. — Слышишь? Пусть.

Стёпа ничего не ответил.

* * *

Вечером Матвей сидел на крыше сарая. Он лазил туда с детства, когда хотел, чтобы его никто не трогал. Оттуда была видна вся улица, до клуба, и дорога на трассу. Он себе сказал, что хочет увидеть, как серая «четвёрка» уедет. Своими

глазами. Чтобы точно.

Солнце село. На улице зажглись фонари.

У клуба вспыхнули фары. Машина тронулась, доехала до перекрёстка и остановилась. Долго стояла. Матвей сидел и ждал, что она свернёт направо. К трассе. Домой. В Тюмень.

Машина свернула налево.

Туда, где кончались фонари. За балку. На просёлочную дорогу, которая вела в степь.

К кургану.

Красные огоньки мигнули в темноте, стали маленькими и пропали.

Глава 5. Блуд

Андрей не собирался ехать к кургану.

Он собрался домой. Заправился на трассе, закинул сумку на заднее сиденье, туда, где ещё вчера лежал свёрток, и поставил в навигаторе «Тюмень». Три тысячи двести. Сорок часов. Как и сюда.

Дело сделано. Книга у них. Сны ушли. Он долго сидел с этой мыслью в кинобудке, и мысль была правильная. Лёгкая. Он сделал, что мог. Никто его тут не ждал и не звал. Значит, надо уезжать, пока не сделал хуже.

Он доехал до перекрёстка. Остановился. Направо — трасса, фонари, дорога домой. Налево — темнота и просёлок.

Он посмотрел налево.

В сумерках курган был чёрным на зелёном небе. Таким же, как в снах. И таким же, как шестнадцать лет назад, в тот вечер, когда Пётр привёл его туда и сказал: «Вот. Смотри. Это наше».

Он так и не поднялся тогда на вершину. Постоял у подножия, послушал, а на другой день уехал.

«Раз в жизни, — подумал он. — Посмотреть. И всё. И домой».

Он включил левый поворотник. Даже здесь, на пустом перекрёстке, в станице, где никто не ездит. Привычка.

* * *

Просёлок был разбитый, в колдобинах, «четвёрка» подпрыгивала и скребла днищем по колее. Андрей морщился, как от зубной боли. За балкой фары выхватили траву, куст терна, зайца, который метнулся в темноту.

А потом машина заглохла.

Не дёрнулась, не чихнула, как глохнет мотор без бензина. Просто замолчала разом. Фары погасли. Приборная панель погасла. Машина прокатилась ещё немного по инерции и встала.

Андрей повернул ключ. Тишина. Ни щелчка реле, ни стартера. Как будто аккумулятора вообще не было.

Аккумулятор он поменял в мае. Новый.

Он посидел в темноте. Достал телефон — тот был мёртвый, чёрный, хотя днём он зарядил его в клубе до ста. Он вышел, открыл капот и на ощупь проверил клеммы. На месте. Туго. Всё цело. И ничего не работало.

Он закрыл капот.

Курган был совсем рядом. Слева, в ста метрах. Огромный, тёмный, круглый. Над ним только-только высыпали звёзды.

«Дойду до подножия, — решил он. — Посмотрю. Вернусь. А там уже с машиной разберусь».

Он шагнул с дороги в траву.

* * *

До подножия он дошёл за минуту. Трава там была по пояс, сухая, жёсткая. Как во сне. И пахло полынью. Как во сне.

Он поднял голову. На вершине никого не было.

Никого. Он даже не знал, что чувствует, облегчение или наоборот. Постоял, подняв голову, как стоял шестнадцать лет назад. Потом сказал вслух, сам не зная кому:

— Ну всё. Я привёз. Уезжаю.

И повернул обратно, к дороге.

Шёл он минуту. Потом две. Потом пять.

Дороги не было.

Машины не было. Только трава, и темнота, и курган.

Слева.

Андрей остановился. Он шёл от кургана. Прямо. Спиной к нему. Как он может быть слева?

Он повернулся спиной к кургану и пошёл снова. Считая шаги. Сто. Двести. Триста. Расстояние от дороги до кургана было сто метров. Он столько раз в жизни прикидывал расстояние на глаз, что не мог ошибиться втрое.

Триста шагов. Трава. Курган слева.

На том же расстоянии.

И тут Андрей увидел под ногами тропу. Узкую, в один шаг, протоптанную в сухой траве. Он присел. Потрогал землю. В пыли были следы. Сапог, сорок пятый размер, стоптанный каблук снаружи.

Его сапог.

Он уже проходил здесь. Много раз.

* * *

Потом он шёл по звёздам. Нашёл Ковш, отмерил от края пять раз, нашёл Полярную. Так учил отец, в детстве, на ры-

балке под Тихорецком. Север там. Дорога на севере. Иди прямо на неё и не отводи глаз.

Он шёл и не отводил глаз.

И Полярная звезда медленно поплыла направо. Спокойно, плавно, как поплавок по течению. А с ней поплыло всё небо. Ковш, Млечный Путь, всё. А курган оставался на месте. Слева.

Андрей закрыл глаза и пошёл вслепую.

И услышал смех.

Тихий. Стариковский. Из травы, совсем рядом, слева, на уровне колена. Так смеются деды на лавке, когда малый падает с велосипеда. Без зла. С удовольствием.

— Ходи, — сказал смех. — Ходи, ходи. Ты ж ходок. Шестнадцать лет ходил. А круг всё один.

Андрей открыл глаза. В траве никого не было.

* * *

Мама вошла в комнату без стука, в три часа ночи. Одетая. В куртке, в кроссовках, с фонариком в руке.

Матвей не спал. Он лежал и думал про красные огоньки, которые свернули не туда. И про то, что никому не сказал. Даже Стёпе. Потому что пусть. Пусть едет куда хочет.

— Вставайте, — сказала мама.

Стёпа сел на кровати разом, как и не спал.

— Я ходила к клубу, — сказала мама. Она говорила ровно, очень спокойно, и свет фонарика в её руке не дрожал. — Не спрашивайте зачем. Машины нет. Коля-сторож сказал, он

вечером в степь поехал. К кургану. И не вернулся. И телефон выключен.

У неё был его номер, понял Матвей. Мама знала его номер.

— Я видел, — выдавил он. — С сарая. Вечером. Как он туда свернул.

Стёпа медленно повернулся к нему.

— И молчал?

— А что?! — Матвей сел. — Он взрослый! Хочет — едет в степь, хочет — в Тюмень, хочет — ещё на шестнадцать лет пропадает! Мам, он же нас… он тебя…

— Матвей.

Мама не повысила голос. Она подошла и села на край его кровати. И взяла его за руку. За левую, где знак, хотя о знаке ничего не знала. Или знала. Она вообще ничего не спрашивала с той зимы.

— Я шестнадцать лет его ненавидела, — сказала она. — Это моё право, сыночек. Моё. Не твоё. А сейчас вставай и иди ищи отца.

Матвей смотрел на неё.

В свете фонарика у неё было то же лицо, что утром у калитки. Белое. Молодое. И в глазах было не горе, а страх. Тот самый, который он видел в них зимой, когда пропал Стёпа. Страх за своего.

Он встал.

Стёпа уже доставал из-под кровати сумку с шашкой. А по-

том, подумав, сунул в рюкзак и летопись. Открытую на странице, заложенной фантиком от чупа-чупса.

«О блудѣ степовомъ».

* * *

Андрей шёл.

Он уже не считал шаги и не смотрел на звёзды. Он просто шёл, потому что пробовал остановиться, и тогда ноги сами начинали двигаться. Шаг. Ещё шаг. По тропе, которая становилась всё глубже.

Иногда из травы его звали. Голосом Петра: «Андрию, сюда». Голосом Оли, двадцатилетней: «Андрюш, ты где?» Один раз — тоненьким детским голоском, семилетним: «Пап, мы с телеги падаем!»

И он поворачивал на голос. Каждый раз. Знал, что нельзя, и поворачивал.

А стариковский смех шёл рядом, слева, на уровне колена, и приговаривал:

— Ходи, ходи. От них ходил, теперь к ним ходи. А всё мимо, мимо…

К рассвету Андрей уже не чувствовал ног. Подошва левого сапога отстала и шлёпала по тропе. В глазах всё плыло. Небо над степью стало серым, потом розовым. Курган чёрным горбом стоял слева.

Он подумал про Гаврилыча. Про следы, которые обрывались. Как будто человек шёл, шёл и на очередном шагу перестал быть.

Не падать, сказал он себе. Только не падать.

Левая нога подломилась.

Он упал на колени, потом на руки. Ладони утонули в мягкой, протоптанной пыли. И смех слева замолчал. Выжидающе. Как замолкают зрители, когда соперник на ринге лежит, а судья считает.

Раз.

Андрей попытался подняться. Руки разъехались.

Два.

Трава вокруг него чуть сомкнулась. Совсем немного. Как вода, когда в неё что-то погружается.

Три.

И тут далеко, совсем далеко, оттуда, где над балкой вставало солнце, чей-то сорванный мальчишеский голос заорал его имя.

Настоящий. Живой. Злой и перепуганный.

Справа.

Глава 6. Наизнанку

Машину они нашли сразу.

Серая «четвёрка» стояла посреди просёлка за балкой, с открытой водительской дверью. Ключ торчал в замке зажигания. На сиденье лежал телефон, чёрный, мёртвый. И никого.

От машины в траву уходил след. Один. И обратно не возвращался.

Небо уже серело. Курган стоял в ста метрах, слева, чёрный, тихий. Шашка в руке у Стёпы звенела с той самой минуты, как они перешли балку. Только звенела странно. Не в одну сторону. Отовсюду. Как будто то, на что она звенела, было везде сразу.

— Читай ещё раз, — сказал Матвей.

Стёпа открыл летопись на капоте.

— «А кого блудъ водитъ, тотъ да вывернетъ одежу на изнанку и чоботы съ ноги на ногу…» А дальше залито. «И самое главное…» И всё.

— Переодеться, — сказал Матвей. — Серьёзно. Человек там умирает, а нам переодеться.

— Нас он пока не водит, — сказал Стёпа. — Пошли. По следу. И не расходимся.

* * *

След исчез через сотню шагов.

Вместо него появилась тропа. Глубокая, протоптанная до голой земли, как коровья дорожка к водопою. Она шла плавной дугой, и курган всё время был слева.

Они шли по ней и кричали. Стёпа кричал «Андрей!». Матвей сначала молчал, потом тоже заорал. Имя выходило из горла трудно, колюче, как чужое.

Степь не отвечала.

Через полчаса они снова вышли к машине.

С другой стороны. Хотя шли от неё, не сворачивая.

Матвей остановился. Посмотрел на «четвёрку». На курган. Слева.

— Водит, — сказал Стёпа.

* * *

Но переодеться они не успели.

— Малой!

Голос донёсся слева, из травы, совсем рядом. Стёпин голос. Сорванный, перепуганный.

— Матюш, сюда! Он тут! Помоги!

Матвей рванул на голос. Сразу, не думая, как рванул бы в любой жизни, на любом свете, если брат кричит «помоги».

И чья-то рука вцепилась ему в запястье. Дёрнула назад так, что он чуть не упал.

Стёпа. Справа. Белый как стена.

— Я тут, — сказал он. Тихо. — Я здесь, Матюш. Рядом. Смотри на меня.

Из травы слева ещё раз крикнули «Малой!». И потом за-

смеялись. Тихо, по-стариковски, довольно.

Матвей стоял, и у него тряслись колени. Потому что он знал этот голос лучше своего. И ничем он не отличался.

— «Держитесь вместе, — сказал Стёпа. — Не верьте глазам». И ушам, видишь, тоже. Дед просто не успел дописать.

Он не отпускал запястье брата.

— Снимай худи, — сказал он. — Одной рукой. Я тебя не отпущу.

* * *

Это было самое дурацкое переодевание в их жизни.

Двое парней посреди степи, на рассвете, держась за руки, по очереди вытаскивали себя из толстовок и выворачивали их швами наружу. Матвей запутался в рукаве и выругался. Стёпа прыгал на одной ноге, передавая брату левый кроссовок. Матвей втиснул в него правую ногу, и большой палец упёрся во что-то чужое и неудобное.

Из травы слева больше не смеялись.

Матвей затянул шнурки. Выпрямился.

И курган прыгнул.

Не сдвинулся, не повернулся. Просто в одно мгновение оказался справа. И дальше, чем был. И машина стояла не там, где стояла, а далеко, у балки, и солнце вставало не спереди, а за спиной. Степь встала на место, как картина, которую всю ночь держали вверх ногами.

И они увидели тропу целиком.

Это был не круг. Это была спираль. Виток за витком, всё

уже и уже, и в самом центре, в ста шагах от них, там, где они только что проходили дважды, стоял на четвереньках человек.

А трава вокруг него шевелилась. Медленно смыкалась. Рук уже не было видно по локоть.

А на спине у него сидело что-то маленькое и серое.

* * *

Они бежали, и Матвей рассмотрел его на бегу.

Старичок. Ростом с трёхлетнего ребёнка, согнутый, серый, словно слепленный из дорожной пыли. Вместо волос сухая трава, спутанная, как старое гнездо. Лицо в складках, морщинистое, добродушное. И глаза — как две лужицы, в которых отражается небо. Он сидел у Андрея на спине, свесив ножки, и похлопывал его по затылку. Ласково. Как коня.

Увидев их, он улыбнулся. Беззубо, весело.

И спрыгнул.

Стёпа рубанул. Шашка свистнула и рассекла воздух и траву. Старичок стоял в шаге от того места и покачивал головой. Стёпа рубанул ещё. Мимо. Ещё. Мимо. Старичок не уворачивался. Он просто всегда оказывался не там, куда била шашка. Как отражение в воде.

Матвей тем временем упал на колени рядом с Андреем и запустил руки в траву. Трава была холодная и тяжёлая, как вода, и тянула вниз. Он нащупал там запястья. Широкие, с чёрствыми ладонями. И дёрнул изо всех сил, как вырываются из душащего.

Руки вышли из травы с чавкающим звуком.

Андрей повалился на бок. Открыл глаза. Мутные, безумные. Посмотрел на Матвея, на его вывернутое худи, на вспыхивающий голубым знак на руке.

Понял. Всё разом. Даже в таком состоянии — понял.

— Как у Петра, — прохрипел он. — Значит, всё-таки вы.

— Матюш! — заорал Стёпа. — Я не могу его достать! Он всё время…

Старичок засмеялся. И покатился. Прямо на глазах сжался, свернулся и покатился по траве сухим серым комом. Перекати-поле. Ветра не было, а он катился. То в одну сторону, то в другую. То ближе, то дальше. Дразнил.

И тут Андрей сказал. Тихо, с трудом разлепляя сухие губы:

— Слева.

Стёпа обернулся.

— Он всегда слева, — сказал Андрей. — Всю ночь. От того, кого водит. Видишь одно, а оно слева. На колене… Глазам не верь. Бей слева.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.